

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СВОИХ



Не пройти мимо

Геннадий Казанцев

**Не пройти мимо. Книга
1. Не время для своих**

«Автор»

2026

Казанцев Г.

Не пройти мимо. Книга 1. Не время для своих / Г. Казанцев — «Автор», 2026 — (Не пройти мимо)

Он знал, чем кончится Смута. Он не знал, что историю не повернуть в одиночку — да и не его это дело. Выгоревший тимлид Антон засыпает в лесу под Тверью в наши дни — и просыпается там же, в 1610 году, в самом пекле Смутного времени. Ни оружия, ни навыков — только знание будущего, которое нельзя произнести вслух, и странный дар видеть обман в любых цифрах. Он мечтал переписать историю. А нашёл другое: старика-бортника, что стал ему отцом. Девушку, которую можно спасти от чужой беды. И тихое, неприметное дело — вернуть голодным коням ополчения краденый овёс, чтобы рать дошла до Москвы. Потому что великое начинается с малого. И потому что правду мало найти — надо дожить до часа, когда её захотят услышать.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПОЛЯНА У РЕКИ	5
Глава 1. Последний день августа	5
Глава 2. Вихрь	8
Глава 3. Другой берег	10
Глава 4. Зеркало будущего	13
Глава 5. Бортник Прохор	15
Глава 6. Изба	17
Глава 7. Наука бортника	20
Глава 8. Огниво и спичка	23
Глава 9. Гости с большой дороги	25
Глава 10. Что делать дальше	29
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗИМА	32
Глава 11. Первый снег	32
Глава 12. Долгие ночи	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Геннадий Казанцев

Не пройти мимо. Книга

1. Не время для своих

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПОЛЯНА У РЕКИ

Глава 1. Последний день августа

Всё идеально. Всё бессмысленно.

Антон смотрел на стол — на ровную, как по линейке, стопку документов, на закрытый ноутбук с корпоративным логотипом, на дорожную ручку, лежащую строго параллельно краю, — и эта мысль пришла так буднично, что он даже не удивился ей. Будто всегда тут была. Будто только и ждала, когда погаснет монитор.

Монитор погас минуту назад, но призрачное послесвечение ещё плавало перед глазами — два бледно-голубых прямоугольника в зеленоватом свете настольной лампы. Кресло отозвалось на движение коротким, почти человеческим стоном кожи и металла. Стояла особая тишина пятничного вечера: умолк гул опенспейса, перестали хлопать двери, но воздух всё ещё держал запахи прошедшей недели — остывшей пиццы, перекипевшего кофе, стерильной ноты озона от сотен работающих машин. Запах его жизни последних лет. Антон давно перестал его замечать — как перестают слышать ход часов в комнате.

Он поднялся. Ноги были ватными, словно он просидел не восемь часов, а целые сутки в самолёте. Подошёл к панорамному окну во всю стену — главной гордости кабинета и зримому символу того, чего он достиг. Отсюда, с двадцать третьего этажа, Москва не казалась живым, дышащим существом. *Она была похожа на гигантскую материнскую плату: лиловые сумерки не побеждали тьму — тьму побеждали огни, миллионы огней. Где-то далеко внизу, в чёрном провале парка, человек выгуливал собаку, и её лай долетал сюда слабым, потеряннным писком — будто комар бился в бетонном ущелье.*

Этот вид стоил миллионы. А сейчас вызывал лишь глухую тошноту и нелепое, на огромной высоте, чувство тесноты — будто его заперли.

Ему было двадцать семь. Возраст, когда вокруг ещё чего-то ждут — рывка, взлёта, большой жизни, — а ты вдруг понимаешь, что бежать-то, в общем, некуда. У него было всё, что общество называет приметами успеха: ипотечная квартира с дизайнерским ремонтом, где он бывал реже, чем в офисе; оклад тимлида; две поездки в год, чтобы сменить одну клетку на другую, с видом на море вместо вида на проспект. А внутри была пустота — гулкая, холодная, размером с эту панораму за стеклом.

Накануне ему попала новость — из тех, что выскакивают в ленте между прогнозом погоды и рекламой. «Под Тверью, при раскопках погребения начала семнадцатого века, археологи обнаружили предмет, который не должен был там находиться».

Антон усмехнулся. Тверь. Те самые места, куда его мальчишкой свозили на каждое лето к бабушке Зине. Знакомые до последней кочки леса, в которых теперь, выходит, что-то выкапывают и делают сенсацию. Фейк, конечно. Сейчас на этом и живут — раздуть из ничего, собрать клики, к утру забыть. Он закрыл вкладку.

Но что-то осталось. Маленькое, тупое, неотступное — будто заноза, которой не видно, а под пальцем чувствуется. Он лёг, потушил свет, и темнота не помогла: «вещь не своей эпохи» всё лежала где-то на дне, под усталостью, под раздражением, под выгоревшим до пепла днём.

Он закрыл глаза — и память без спроса унесла его на двадцать лет назад. Не запах травы вообще — густой, медовый дух цветущей липы под полуденным солнцем, перемешанный с горьковатой полынью и сладким клевером...

Вкус парного молока — ещё тёплого, с толстым слоем жёлтых сливок и нежной пенкой, которую так весело было лопать языком. Шершавое тепло нагретых солнцем досок крыльца под босыми ступнями. Бескрайнее небо, которое ничто не заслоняло и которое пахло близким дождём и свободой.

Тогда мир был осязаемым — шершавым, пыльным, мокрым от росы, тёплым от солнца. А теперь мир Антона был упакован в гладкий пластик смартфонов и холодное стекло мониторов, оцифрован, разложен на нули и единицы, заархивирован и убран в облачное хранилище, до которого ни дотянуться рукой, ни понюхать.

Он не поедет ни в какую Турцию. Он не станет менять клетку на клетку. Он поедет туда, где можно услышать настоящую тишину — не вакуум, не отсутствие звука, а ту плотную, звенящую тишину природы, что наполнена шёпотом ветра в сосновых кронах и далёким стуком дятла.

Следующие часы стали ритуалом очищения. Антон стащил с антресолей старый туристический рюкзак на восемьдесят литров — купленный когда-то в порыве романтических мечтаний о горах и ни разу толком не использованный. Методично, вещь за вещью, он собирал то, что должно было унести его из этой жизни: палатку, спальник с порогом до минус пяти, котелок, немного крупы и чая. Спички, нож, зажигалку — то, без чего в лесу не обойтись.

В последний момент он сунул в наружный карман книгу — потёртый том «Войны и мира». Читать он её не собирался. Это был талисман, материальный якорь, связывающий его с тем миром подлинных чувств, который он смутно искал и не находил.

Дорога заняла почти весь следующий день. Утренняя электричка с Казанского была полупустой и пахла усталостью, растворимым кофе и дешёвым дезодорантом. Пассажиры, уткнувшиеся в экраны, казались Антону тенями — такими же безликими, каким он сам чувствовал себя ещё вчера. Потом был душный, пропахший соляжкой автобус, что трясся по разбитой дороге до последней остановки в забытом богом посёлке. Название на ржавой табличке стёрлось от времени и непогоды. Здесь асфальт заканчивался, уступая место двум заросшим травой колеям.

Чем дальше он уходил от цивилизации, тем легче становилось дышать. Это было не просто физическое удаление от города — это было похоже на то, как снимают с плеч невидимый, привычный груз. Сначала исчез монотонный гул мегаполиса — тот самый, которого он раньше не замечал, но который, оказывается, постоянно давил на подсознание. На смену пришли пение невидимых птиц, шелест листвы и хруст веток под ботинками.

Воздух здесь был иным — густым, плотным, почти осязаемым. Он пах хвоей, влажной землёй после недавнего дождя и грибами. Каждый вдох наполнял лёгкие такой чистотой, что поначалу кружилась голова. Антон остановился, закрыл глаза и просто дышал, чувствуя, как с каждым выдохом из тела уходит напряжение последних лет.

К вечеру второго дня он вышел к реке.

Это была неширокая, но быстрая речка с каменистым дном и прозрачной водой цвета бутылочного стекла. На высоком берегу росли старые сосны; их могучие корни причудливо переплетались, уходя в землю, словно пальцы древнего исполина, вцепившегося в берег, чтобы не сорваться в стремнину. Антон спустился к воде по крутому склону, хватаясь за ветки кустов и торчащие корни. У подножия обрыва лежала небольшая поляна — идеальное место для стоянки. Высокая трава доходила почти до колен и пружинила под ногами, будто живая.

Палатку он поставил входом к реке: хотел утром встречать восход над водой. Развёл небольшой костёр из сухих веток — просто чтобы посидеть у огня и выпить чаю. Дым поднимался вертикально в неподвижном воздухе, вычерчивая в сумерках тонкие узоры.

Сидя у костра с кружкой в ладонях, Антон впервые за много лет почувствовал покой. Это было не отсутствие мыслей, а их редкая, хрустальная ясность. Город с его дедлайнами, совещаниями и проблемами остался в другой вселенной, за миллионы световых лет. Здесь были только он, лес и река. И это было правильно.

Он раскрыл книгу наугад.

«Всё кончится смертью, всё».

Слова прозвучали в лесной тишине особенно весомо — как приговор и как освобождение одновременно. Антон усмехнулся. Да, всё конечно. Но здесь эта мысль не пугала неотвратимостью, а успокаивала своей честностью. Здесь жизнь была настоящей.

Он забрался в палатку, застегнул москитную сетку и закрыл глаза под мерный, вечный шум реки.

Глава 2. Вихрь

Сон был глубоким, без сновидений, и оборвался резко, будто кто-то выдернул Антона из тёплой тьмы за шиворот. Он лежал в спальнике, глядя на тёмный брезентовый потолок, и не мог понять, что именно его разбудило.

Не крик ночной птицы. Не хруст ветки под лапой вышедшего на охоту зверя. Его разбудила тишина. Абсолютная, ватная, физически давящая на барабанные перепонки. Даже река внизу, чей мерный плеск стал саундтреком ночёвки, молчала. Полностью. Мёртво. Будто течение остановили чьей-то незримой волей.

Стараясь не шуметь, он расстегнул сетку. Холодный воздух, пахнувший смолой и сыростью, ударил в лицо, но облегчения не принёс. Антон высунул голову наружу — и замер.

Мир изменился за те несколько часов, что он спал.

Воздух над поляной загустел, превратившись в тяжёлое, осязаемое желе. Он был наэлектризован до предела. Антон видел, как тонкие волоски на предплечье встали дыбом и потянулись к центру поляны. Кожу на лице покалывало — будто он сунул пальцы в розетку через толстый слой шерсти. Запах озона был резким, почти душливым — так пахнет воздух после грозы или рядом с гудящим трансформатором.

Но всё это было лишь фоном к главному.

Там, где вечером чернело остывшее кострище, теперь медленно вращалась колонна света. Не смерч из пыли и листьев — нет. Геометрически идеальная колонна серебристого, переливающегося свечения, сотканного из чего-то среднего между туманом и застывшей ртутью. Она висела в полуметре над землёй, неподвижная относительно вращающейся внутри неё массы. И она гудела — низко, утробно, на самой границе слышимости, как трансформаторная будка под чудовищным напряжением.

Антон замер. Каждая клетка тела кричала об опасности. Рациональный ум программиста, привыкший к логике «если — то», вопил: беги! Беги к дороге, прячься за стволом! Но другая часть его существа — та, что привела его сюда из душного офиса, — тянулась к чуду вопреки инстинкту. Это было красиво. Пугающе и завораживающе.

Он медленно поднялся — одним плавным движением, будто боялся спугнуть. Земля под ногами казалась чужой, непрочной, как тонкий лёд над бездной. Он сделал шаг к свету.

Он нащупал в кармане куртки тёплый прямоугольник стекла и алюминия — последний якорь привычного мира. Экран вспыхнул: 03:14. Сигнала, разумеется, не было ни палочки. Глупый, машинальный жест — проверить время на пороге невозможного. Но сам факт, что хрупкая вещь пережила эту ночь, странно обнадежил. Антон сунул телефон обратно, поглубже.

Гудение поднялось на полтона, переходя в тонкий свист, от которого заныли зубы.

— Этого не может быть, — прошептал он. И сам услышал, как глупо это звучит — здесь, где оно было.

Потому что оно было. Реальнее брезента за спиной, реальнее хвои под ногами. Рассудок программиста, всю жизнь живший по «если — то», искал и не находил «если». Впервые в жизни ему нечего было подставить.

Он протянул руку. Кончики пальцев вошли в покалывание — мягкое, как тысяча иголок сквозь толщу шерсти. Не больно. Колонна отозвалась мгновенно, будто живая: вспыхнула, закружилась быстрее, свист стал поющим. И страх вдруг схлынул — весь, разом, — оставив звенящую пустоту и одно детское, незаконное любопытство.

Это была не угроза. Это была дверь. Тяжёлая, древняя дверь из серебра и тумана.

— Я не дома, — сказал он вслух. Не вопрос — простая истина, вроде «дважды два». Слова тут же поглотило гудение.

Он подошёл к колонне вплотную — так, что вибрация отдавалась в груди и стучали зубы. Ветер, рождённый вращением, трепал волосы. Антон оглянулся всего один раз — на палатку, на тёмную стену леса за рекой.

И шагнул в серебристый свет.

Мир не перевернулся. Он просто исчез.

Ощущение было как свободное падение в лифте с оборванным тросом. Желудок подскочил к горлу. Антон зажмурился от слепящего света, который был повсюду сразу. Он перестал чувствовать тело — только космический холод, пронизывающий до костей, и вибрацию каждой молекулы, словно его существо распадалось на атомы и собиралось заново.

А потом всё прекратилось.

Холод сменился теплом летнего дня. Гудение стихло, уступив место шелесту листвы, пению птиц, стрёкоту кузнечиков.

Антон открыл глаза.

Та же поляна. Та же река. Солнце уже поднялось над соснами, заливая всё мягким утренним светом. Но лес был другим — гуще, темнее. Ни тропинки, ни единого следа человека. И воздух пах иначе: дымом далёких костров, прелым сеном, сырой шерстью.

Дрожащими руками он достал телефон. Экран разблокировался с первого раза, показывая дату:

3 сентября 1610 года.

Он вернулся домой. Но дом этот был чужим домом прошлого.

Глава 3. Другой берег

Антон сидел на корточках, уставившись в светящийся прямоугольник телефона так, будто это была не игрушка из стекла и металла, а единственный свидетель его внезапного безумия. Цифры на экране не желали меняться, как бы он ни моргал, как бы ни тёр глаза тыльной стороной ладони.

3 сентября 1610 года. Воскресенье.

«Сбой, — сказал он себе с упрямством человека, цепляющегося за остатки привычной логики. — Глюк операционной системы. Магнитная аномалия сбросила настройки. Электроника не любит таких полей, вот часы и слетели к началу эпохи или к чёрту знает чему».

Он перезагрузил устройство. Чёрный экран, белое яблоко, привычная заставка с фотографией ночной Москвы — той самой, из окна кабинета. И снова: **3 сентября 1610 года.**

Он отложил телефон на влажную траву и медленно поднялся. Колени дрожали. Голова кружилась — то ли от пережитого, то ли от голода, то ли от того, что мозг отчаянно искал и не находил объяснения. Он огляделся уже не глазами испуганного человека, а взглядом наблюдателя, привыкшего вычленять детали в потоке данных. И детали эти складывались в картину, от которой холодело внутри.

Палатка стояла на месте — нелепый островок современного нейлона цвета хаки посреди девственного леса. Рюкзак привалился к сосне. Кострище чернело там, где он его и оставил. Но всё остальное было неправильным.

Лес изменился. Вчера это был обычный смешанный лес средней полосы — сосны впере­мешку с берёзами, ольхой, осинником, с прогалинами и следами бывших вырубок, с банкой из­под энергетика, что он заметил у тропы. Сегодня перед ним стояла стена. Могучие сосны в три обхвата, чьи рыжие стволы уходили в небо на немыслимую высоту. Тёмные ели, под которыми царил вечный сумрак. Дубы с корявыми, узловатыми ветвями, каких он не видел никогда в жизни. Подлесок был непролазным — папоротник в человеческий рост, поваленные, замше­лые стволы, буреломы. Это был не парк, не вторичный лесок дачников. Это был настоящий, дремучий, никогда не знавший пилы и трактора бор.

И запахи. Антон втянул воздух, как зверь. Хвоя, сырая земля, грибы — это осталось. Но к ним добавилось что-то новое, чего вчера не было и в помине. Едкий, ни с чем не сравнимый запах дыма — но не костра, не лесного пожара. Запах горящего дерева в печи, постоянный, обжитой. Где-то недалеко топили. Слабый дух навоза и скотины. И ещё — едва уловимый, тревожный — запах гари, будто на горизонте дотлеvalo пожарище.

Птицы пели иначе. Их было больше, и пели они громче, наглее, без оглядки на человека. Над водой с криком пронеслась стая уток — целая туча, какой Антон никогда не видел над подмосковными речками. В прозрачной воде у берега, между камней, лениво стояла крупная рыба — хариус или форель, он не разбирался, — стояла, не пугаясь его тени, будто никогда не знала ни сети, ни крючка.

— Так не бывает, — прошептал он.

Но всё было. Слишком осязаемо для сна. Слишком логично в своей нечеловеческой нетронутости для галлюцинации.

Он подошёл к реке, опустился на колени и зачерпнул ладонью воды. Ледяная, чистая, без малейшего привкуса хлора или ржавчины. Он плеснул в лицо, надеясь, что наваждение спадёт. Не спало. С волос капало, рубашка намокла на груди — всё было реальным до мелочей.

Тогда Антон сделал то, что делал всегда, когда сталкивался с нерешаемой задачей: раз­ложил проблему на части и начал собирать факты.

Факт первый: он переместился. Палатка осталась, значит, переместилось небольшое про­странство вокруг неё — или, точнее, он сам прошёл сквозь что-то и оказался в другом месте.

Факт второй: телефон показывает 1610 год. Это можно списать на сбой — но лес, рыба, запах дыма из печи слишком хорошо ложатся в эту цифру.

Факт третий: где-то рядом люди. Дым из печи не врёт.

Он вернулся к стоянке и заставил себя позавтракать — сварил на остатках вчерашних углей горсть гречки, заел сухарём, выпил кружку чая. Тело требовало топлива, а ясная голова сейчас была нужнее любых эмоций. Жуя, он думал. Если это и вправду семнадцатый век — он покойник. Человек из будущего, не умеющий ни охотиться толком, ни разводить огонь без спичек, когда они кончатся, ни говорить на языке этой эпохи. Чужак в странной одежде, с дьявольскими вещами в карманах. В лучшем случае его сочтут безумным. В худшем — колдуном. А с колдунами в любые тёмные века разговор был коротким.

Значит, надо понять, где он и когда. Наверняка. Дойти до людей, посмотреть, послушать — но осторожно, не показываясь.

Он принял решение и начал собираться. Палатку сложил — не бросать же единственное укрытие. Спальник, котелок, остатки еды — всё в рюкзак. Современную куртку из мембранной ткани он, поразмыслив, снял и спрятал в рюкзак тоже: слишком яркая, слишком гладкая, слишком чужая. Остался в простой клетчатой рубашке и тёмных брюках — это хоть отдалённо могло сойти за странную, но не вопиющую одежду. Ботинки трогать не стал: без них в лесу было не выжить.

Телефон он, поколебавшись, сунул во внутренний карман рюкзака, поглубже. Зарядки нет, толку от него мало, но это последняя ниточка к дому. К тому же там фотографии, карты — вдруг пригодятся.

Идти он решил вдоль реки. Реки всегда выводят к людям: на берегах ставят деревни, мельницы, переправы. Вода течёт куда-то, и куда-то она да приведёт.

Антон закинул рюкзак на плечи, поправил лямки, в последний раз оглянулся на поляну — место, где он перешагнул из одной жизни в другую, — и двинулся вниз по течению.

Идти было тяжело. Берег зарос так, что местами приходилось продираться сквозь кусты, обходить буреломы, спускаться к самой воде по скользким камням. Через час он взмок, исцарапал руки, дважды чуть не подвернул ногу. Но он шёл, и движение успокаивало, заглушало панику, которая иначе захлестнула бы его с головой.

Лес жил своей жизнью, не обращая на пришельца внимания. Дятел деловито долбил сухую осину. Белка, рыжей молнией мелькнув по стволу, замерла на ветке и сверху, без всякого страха, разглядывала странное двуногое существо. Из-под ног то и дело выпархивали птицы. Один раз Антон вышел на небольшую поляну и замер: на дальнем её краю, подняв увенчанную тяжёлыми рогами голову, стоял лось — огромный, тёмный, древний, как сам этот лес. Зверь несколько секунд смотрел на человека, потом неторопливо, с достоинством, ушёл в чащу. И ни тени страха, ни паники — будто человек тут был не хозяином, а редким, не очень опасным гостем.

«Здесь людей мало, — отметил про себя Антон. — Зверь человека почти не боится. Значит, охотятся редко или живут вдалеке».

К полудню река стала шире и спокойнее. Лес начал редеть, расступаться, и впереди Антон скорее почуял, чем увидел открытое пространство. Запах дыма усилился, к нему примешались новые: печёного хлеба, скотного двора, чего-то кислого — то ли браги, то ли квашеной капусты. Звуки переменились: слышался отдалённый лай собаки, мычание коровы, потом — голоса. Человеческие голоса.

Антон замер за стволом старой ели, сердце бешено заколотилось. Он осторожно выглянул.

За поворотом реки, на пологом склоне, раскинулась деревня.

Это была картина, сошедшая со страниц учебника истории, — но живая, дышащая, дымящаяся. Десятка полтора изб, сложенных из тёмных, потемневших от времени брёвен, под

крышами из дранки и почерневшей соломы. Маленькие, подслеповатые оконца, затянутые не стеклом, а чем-то мутным — то ли бычьим пузырём, то ли промасленной холстиной. Покосившиеся плетни. Огороды с грядками. На задах — приземистые хлева, сараи, рубленые амбары на сваях-курых ножках, чтобы мыши не добрались до зерна.

Над избами вились дымки — топили по-чёрному: дым выходил не через трубы, которых попросту не было, а через волоковые оконца под крышей и через двери. Оттого избы казались закопчёнными, а воздух над деревней дрожал и горчил.

По единственной кривой улочке, разъезженной до глубоких колеи и подсохшей грязи, бродили куры. У плетня рылась в земле свинья с поросятами. Где-то блеяли овцы.

А люди...

Антон вгляделся, и у него перехватило дыхание. Люди были настоящими. Не актёры в костюмах, не реконструкторы. Их движения, их одежда, их лица — всё было пропитано суровой подлинностью.

Мужик в посконной рубахе до колен, подпоясанный верёвкой, в портах и лаптях, чинил у избы изгородь. Лицо его, заросшее густой бородой, было обветренным, тёмным от загара, изрезанным морщинами — лицо человека, всю жизнь работавшего под открытым небом. Баба в долгой рубахе и понёве, с убранными под платок волосами, несла на коромысле два ведра воды от реки — спина прямая, шаг плавный, отработанный годами. Стайка чумазных ребятишек, босых, в одних рубашонках, гонялась за собакой у амбаров.

Антон смотрел на них, спрятавшись за елью, и чувствовал, как последние сомнения тают. Это был не маскарад. Это была сама жизнь — тяжёлая, скудная, простая. Жизнь, которой не существовало в его мире уже четыре сотни лет.

Он попятился глубже в лес, опустил на поваленный ствол. Руки тряслись. Дыхание сбилось.

Это правда. Он действительно здесь. В прошлом. 1610 год. Россия. Смутное время — он смутно помнил из школьного курса, что начало семнадцатого века было одной из самых страшных эпох в русской истории. Голод, война, поляки, самозванцы, безвластие.

И он, Антон, тимлид из московского айти-офиса, оказался в самом сердце этого хаоса. Без денег, имеющих здесь хождение. Без оружия. Без навыков. Без понимания, как выжить.

«Спокойно, — приказал он себе, и голос внутренней головы был холодным и сухим, как протокол. — Паника — роскошь. Думай. У тебя есть ресурсы. Есть голова. Есть знания, которых нет ни у кого в этом веке. Главное — не выдать себя. Не показывать вещи. Не говорить лишнего. Сначала — выжить. Потом — понять, как жить дальше».

Он сидел в тени и наблюдал за деревней до самого вечера, как разведчик за вражеским лагерем. Запоминал. Распорядок жизни. Как говорят — слов отсюда было не разобрать, но интонации, ритм речи он впитывал. Как одеваются. Что едят. Когда загоняют скотину. К сумеркам он знал об этом мире немного больше, чем утром. И главное — он решился.

Завтра он попробует выйти к людям. Но не здесь, не в этой деревне. Сначала нужно стать менее заметным. Нужна одежда. Нужна легенда. И нужно, наконец, понять язык — потому что от того, как он заговорит, будет зависеть его жизнь.

Глава 4. Зеркало будущего

Ночь Антон провёл в лесу, в стороне от деревни, не разводя огня — боялся, что заметят. Завернувшись в спальник под низкими еловыми лапами, он то проваливался в тревожную дрёму, то выныривал, вздрагивая от каждого шороха. Лес ночью жил своей, чужой жизнью: ухала сова, трещали сучья под чьими-то осторожными лапами, где-то далеко завывали волки — протяжно, тоскливо, от чего по коже бежали мурашки. Антон лежал, сжимая в руке нелепый перочинный нож — единственное подобие оружия, — и впервые в жизни так остро, всем телом, ощущал, насколько он, человек двадцать первого века, беспомощен наедине с дикой природой. В городе он был на вершине пищевой цепочки. Здесь — мягкой, безоружной добычей.

Под утро он всё же уснул по-настоящему и проспал почти до полудня, измотанный пережитым. Разбудило его солнце, пробившееся сквозь хвою, и собственный голод — острый, сосущий, требовательный.

Он сел, разломил последний сухарь, пожевал всухомятку. Воды набрал ещё с вечера из ручья. Запасы таяли катастрофически: горсть гречки, немного риса, полпачки чая, три сухаря. На два-три дня впроголодь. Дальше — либо учиться добывать еду в лесу, либо идти к людям. Лесная наука требовала времени, которого не было. Значит — к людям.

Но прежде, чем что-то предпринимать, он решил сделать главное: разобраться, куда и в какое время его занесло. Не верить телефону на слово, а проверить.

Антон достал устройство. Заряд — пятьдесят восемь процентов. Каждый процент теперь был на вес золота: розеток в семнадцатом веке не водилось. Он открыл фотоальбом, нашёл сохранённые офлайн-карты, которые по привычке программиста закачивал перед любой поездкой. Спутниковый снимок этого района Тверской области был у него — он же планировал поход. Вот река. Вот её излучины. Вот характерный изгиб, где он встал лагерем.

Он сличил рельеф местности с картой. Холмы, повороты реки, очертания берегов — всё совпадало с точностью. Он был в том же самом месте географически. Та же река, тот же берег. Изменилось только время.

Это окончательно убило последнюю надежду на то, что он просто заблудился и вышел к глухой деревне, где живут какие-нибудь старообрядцы или съёмочная группа исторического фильма. Нет. Место то же. Эпоха — другая.

Он открыл сохранённую офлайн-копию энциклопедической статьи — ещё одна привычка, тянущаяся со студенчества: закачивать себе всякую справочную всячину «на всякий случай». Среди прочего там была обзорная статья по русской истории. Антон лихорадочно листал, ища главу о начале семнадцатого века.

«Смутное время (Смута) — период в истории России с 1598 по 1613 год...»

Он читал жадно, и от прочитанного становилось всё холоднее.

1610 год. Один из самых страшных годов Смуты. В июле в Москве свергли царя Василия Шуйского, насильно постригли в монахи. Власть перешла к боярскому правительству — Семибоярщине. В августе бояре заключили договор с поляками и присягнули польскому королевичу Владиславу. Осенью в Москву должны были войти польские войска. По стране бродили шайки — казаки, поляки, литва, тушинцы, лихие люди всех мастей. Деревни жгли и грабили все кому не лень. Голод, мор, разорение. Страна фактически без власти, погружённая в хаос и кровь.

Антон отложил телефон и долго сидел, глядя в одну точку.

Худшее время. Худшее из возможных. Если бы его занесло в спокойный, сытый век — был бы шанс прижиться, найти место. Но Смута — это война всех против всех. Чужак здесь — это либо шпион, либо лазутчик, либо колдун. Любой из этих ярлыков означал смерть.

Но паниковать второй раз было уже некогда. Антон с удивлением заметил, что отчаяние, накатившее вчера, сегодня сменилось холодной собранностью. Может, виной тому был сон. Может — то, что человеческая психика просто не способна долго пребывать в ужасе и рано или поздно начинает искать выход. Он был инженером. А инженер, столкнувшись с поломкой, не плачет над ней — он чинит.

Чтобы выжить, надо было стать здесь своим — а он торчал из этого мира, как заноза. Чужая речь, которую он едва понимал. Чужая одежда, кричавшая о пришельце. Дьявольские вещи в карманах, за которые жгут. И ни корки хлеба, ни угла. Всё это предстояло как-то решить — а пока он не знал даже, с какого конца взяться.

Он думал долго, перебирая варианты. И постепенно в голове сложился план. Рискованный, но единственно возможный.

Не выходить к большой деревне, где много глаз, где чужака сразу обступят, начнут расспрашивать, заподозрят неладное. Нет. Найти человека одинокого, живущего на отшибе. Лесника, охотника, бортника, мельника, отшельника — кого угодно, кто живёт вдали от людей и привык к редким случайным встречам. Такой человек менее подозрителен, более самостоятелен в суждениях, не побежит сразу скликать народ. С ним можно осторожно завести знакомство. У него можно выменять одежду, расспросить — узнать, что творится в мире, куда идти, чего бояться.

Решено.

Антон ещё раз сверился с картой. Если идти дальше вниз по реке, в стороне от деревни, через несколько вёрст местность снова становилась лесистой и глухой. Где-то там, в стороне от деревенских угодий, и стоило искать одинокое жильё — заимку, охотничью избушку, мельницу на ручье.

Он спрятал телефон поглубже в рюкзак, тщательно завернув его в запасную футболку. Современную одежду, которую снимет позже, тоже нужно будет припрятать — оставить в лесу, в укромном месте, чтобы при случае вернуться. Но это потом.

Перед тем как тронуться в путь, Антон сделал ещё одно — то, что подсказала холодная инженерная логика. Он достал из рюкзака небольшой блокнот в кожаной обложке (купленный когда-то для записи идей и ни разу не использованный) и карандаш. И принялся записывать.

Всё, что знал о Смуте. Все даты, события, имена, какие смог вспомнить и какие вычитал в энциклопедии. 1610-й — Семибоярщина, поляки в Москве. 1611-й — Первое ополчение, гибель Ляпунова. 1612-й — Минин и Пожарский, Второе ополчение, освобождение Москвы. 1613-й — избрание Михаила Романова, конец Смуты.

Он писал мелким, убористым почерком, превращая обрывки школьных знаний и энциклопедические строки в инструмент выживания. Потому что главное преимущество, которое у него было перед всеми людьми этого века, — это знание будущего. Он один на всей земле знал, чем всё кончится. Кто победит, кто погибнет, какой год будет голодным, когда придут поляки и когда их прогонят.

Это знание было опаснее любого оружия. И ценнее любого золота.

Нужно было только научиться им пользоваться — и при этом не сгореть на костре как колдун.

Антон закрыл блокнот, спрятал его во внутренний карман, ближе к сердцу. Закинул рюкзак на плечи. И, обойдя деревню стороной, по краю леса, двинулся дальше вниз по течению — навстречу новой жизни, к которой не был готов, но в которой, хочешь не хочешь, предстояло выжить.

Глава 5. Бортник Прохор

К вечеру второго дня пути вдоль реки Антон выбился из сил. Скучные запасы кончились ещё утром: он доел последнюю горсть риса, сваренного на крошечном, тщательно укрытом костерке. Голод теперь был не сосущим чувством, а постоянной, тупой болью, от которой кружилась голова и подгибались ноги. Дважды он находил в лесу кусты с какими-то ягодами, но есть незнакомое побоялся — отравиться сейчас означало умереть. Один раз набрёл на грибы, но и тут не рискнул: отличить съедобный от смертельного он не умел.

Он понимал, что долго так не протянет. Решимость найти отшельника и обменять у него что-нибудь на еду из абстрактного плана превратилась в вопрос жизни и смерти.

И когда он уже почти отчаялся, удача наконец улыбнулась.

Сначала он почуял запах — тот же дым из печи, но слабый, одинокий, не как над деревней. Потом, продравшись через ельник, вышел на небольшую поляну у излучины ручья, впадавшего в реку.

Это была заимка. Одна-единственная приземистая избушка, срубленная крепко, на совесть, из толстых брёвен. Рядом — навес, под которым сохли дрова. Маленький огород с несколькими грядками. А чуть в стороне, на опушке, среди старых лип и сосен, Антон с удивлением разглядел десятка два странных сооружений — то ли колод, то ли долблёных чурбанов, подвешенных высоко на деревьях и приставленных к стволам. Возле них в тёплом вечернем воздухе роилось, гудело, переливалось золотом множество пчёл.

«Бортник, — догадался Антон, вспомнив прочитанное. — Пасечник старого толка. Тот, кто берёт мёд диких пчёл из бортей — дупел да колод».

Это было именно то, что он искал. Одинокое жильё на отшибе. Человек, привыкший к лесу, к редким встречам, живущий своим трудом вдали от деревенской толпы.

Антон замер за деревьями, наблюдая. Из избы вышел человек — и пришелец впервые смог рассмотреть жителя этой эпохи вблизи.

Это был старик. Сколько ему было лет, понять было трудно — суровая жизнь старила здесь рано, и тридцатилетний мог выглядеть на полвека. Но этот был стар по-настоящему: высокий, сухой, жилистый, с длинной седой бородой, заплетённой внизу в косицу. Лицо его, тёмное и обветренное, как старое дерево, было изрезано глубокими морщинами, но светлые, выцветшие глаза смотрели зорко, живо, с тем спокойным достоинством, какое даёт долгая жизнь в ладу с собой и природой. Одет он был в длинную, до колен, рубаху некрашеного холста, подпоясанную узким ремешком, в порты и в лапти, плотно обмотанные онучами. На голове — войлочный колпак.

Старик двигался неторопливо, основательно. Он подошёл к навесу, взял охапку дров, понёс в избу. Видно было, что живёт он один — ни жены, ни детей, ни работника не показалось.

Антон стоял в нерешительности. Выйти прямо сейчас? Старик может испугаться, схватиться за топор или рогатину. В лесу, в одиночку, всякий чужак — угроза. Но и медлить нельзя: голод гнал вперёд.

Он решил действовать осторожно. Снял рюкзак, спрятал его в кустах — не стоило сразу показывать диковинную ношу. Достал оттуда лишь нож в ножнах, прицепил на пояс — не для угрозы, а чтобы выглядеть как путник, не безоружный бродяга. Потом, поразмыслив, потянулся за краухой. Пусто. Совсем пусто.

Тогда он сделал то единственное, что мог. Вышел из-за деревьев на открытое место — медленно, держа руки на виду, чтобы показать, что не таит оружия, — и негромко окликнул: — Эй... хозяин. Мир дому.

Слова он подбирал осторожно, стараясь говорить медленно, чуть нараспев, подражая услышанному в деревне говору.

Старик обернулся мгновенно — для своих лет на удивление быстро. В руке у него тут же оказался топор, неведомо как — будто всегда был наготове. Светлые глаза впились в незнакомца, ощупали с ног до головы: странную одежду, чужое лицо, нож на поясе. Антон видел, как напряглось всё тело старика, как он чуть присел, готовый и к бегству, и к драке.

— Кто таков? — голос был хриплый, низкий, настороженный. — Чего надобно? Откель взялся?

Антон поднял руки выше, ладонями вперёд — извечный жест мира, понятный во все века.

— Не лихой я, дедушка. Путник. Заблудился в лесу. Третий день брожу, ничего не евши. Дыму вот учуял, на огонёк вышел. — Он говорил медленно, тщательно, и горло сжималось от напряжения: правильно ли подбирает слова, не выдаст ли себя первой же фразой. — Не гони. Мне бы хлебушка корку да дорогу спросить.

Старик не опускал топора. Глаза его, цепкие и умные, продолжали изучать пришельца. Антон чувствовал этот взгляд физически — будто его просвечивали насквозь.

— Заблудился, говоришь, — протянул старик с явным недоверием. — А одёжа на тебе чудная. Не наша одёжа. И обувка диковинная. — Он кивнул на ботинки. — Не из басурман ли? Не лях ли? Не из тех ли, что по дорогам шастают, людей грабят?

— Не лях и не басурман, — Антон постарался говорить твёрдо, но без вызова. — Русский я, крещённый. — Он перекрестился — широко, как умел, надеясь, что не перепутал движение. По лицу старика скользнула тень удовлетворения: значит, перекрестился верно. — А одёжа... из дальних краёв я. Заморских. Долго рассказывать, дедушка. Не до бак мне сейчас — с голоду качает.

И тут желудок Антона предательски, громко заурчал — так, что слышно было через всю поляну.

Старик помолчал, разглядывая измождённое, осунувшееся лицо незнакомца, его дрожащие от слабости руки. И что-то в его суровом взгляде дрогнуло. То ли голод, написанный на лице гостя, был слишком очевиден, чтобы счесть его притворством. То ли в выпуклых стариковских глазах жила та простая человеческая жалость к голодному, какую не вытравили из людей даже самые лютые годы.

— Заморский, говоришь... — Старик медленно, но не до конца опустил топор. — Что ж ты, заморский, по-нашему-то говоришь, хоть и коряво?

— Учили меня, — нашёлся Антон. — Был у нас человек русский, он и научил.

Старик хмыкнул — не то поверил, не то решил пока не допытываться.

— Ну, заходи, что ли, — буркнул он наконец. — На голодного смотреть — грех. Накормлю Христа ради. А там поглядим, кто ты таков. Только нож-то с пояса сними да у порога положи. В дом с железом чужой не входит.

Антон с готовностью отстегнул нож и положил его на завалинку у входа. Жест этот, кажется, окончательно успокоил старика: лихой человек с оружием бы не расстался.

— Прохором меня кличут, — сказал старик, пропуская гостя в избу. — Бортник я. Мёд лесной беру. А тебя как звать-величать, заморский?

— Антон, — ответил тот и тут же поправился, вспомнив, как звучат здешние имена: — Антоном.

— Антон, — повторил Прохор, словно пробуя имя на вкус. — У нас тоже бывают — Антипы да Антоны. Ну, заходи, Антон-заморский. Голову не расшиби о притолоку — низкая. Антон пригнулся и шагнул через высокий порог в полумрак избы.

Глава 6. Изба

Внутри было темно, тепло и дымно. Глаза, привыкшие к дневному свету, не сразу различили обстановку. Постепенно из мрака проступили детали, и Антон, затаив дыхание, рассматривал жилище семнадцатого века — не музейную реконструкцию за стеклом, а настоящий, живой, обжитой дом.

Изба топилась по-чёрному. Печь — массивная, глинобитная, без трубы — занимала добрую четверть помещения. Дым от неё стелился по верху, под самым потолком, и выходил в маленькое волоковое оконце под крышей, которое можно было задвинуть деревянной заслонкой. Оттого верхние венцы брёвен и потолок были покрыты толстым слоем чёрной, блестящей, как смола, копоти. Внизу же, где жили люди, воздух был чище — дым шёл поверху, не опускаясь.

Антон поразился, до чего разумно всё устроено: такая печь грела дольше, изба меньше боялась сырости и гнили, дым окуривал стены, отгоняя насекомых и мышей. То, что городскому человеку казалось дикостью и убожеством, на деле было выверенной веками технологией выживания.

Окошки — два маленьких, в ладонь, — были затянуты бычьим пузырём, пропускавшим скудный мутный свет. Пол — земляной, плотно утрамбованный, чисто подметённый. Вдоль стен тянулись широкие лавки, служившие и для сидения, и для спанья. В красном углу, наискосок от печи, висела тёмная икона — лик едва угадывался под слоем копоти и времени, — а перед ней теплилась лампадка. Под иконой стоял грубо сколоченный стол.

Вся утварь была деревянной да глиняной: долблёные миски и ложки, берестяные туеса, глиняные горшки-корчаги, кадки. У печи — ухваты, кочерга, деревянная лопата для хлебов. С потолочных балок свисали пучки сушёных трав, связки лука, какие-то корни. Пахло дымом, травами, кислым хлебом, воском и мёдом — густой, обжитой, ни на что не похожий запах.

— Садись, — Прохор кивнул на лавку у стола. — Сейчас похлёбку согрею. Утрешняя осталась, да и ладно — горячая будет.

Он подкинул в печь дров, раздул угли, повесил на крюк закопчённый горшок. Двигался уверенно, скупно, без лишних движений — каждый жест отработан годами одинокой жизни. Антон сидел на лавке и впитывал всё это, как губка. Каждая мелочь была уроком. Как старик держит хват. Как достаёт хлеб из берестяного короба — большой, тёмный, тяжёлый каравай. Как отрезает от него толстый ломоть остро отточенным ножом, прижимая каравай к груди и режа на себя.

— На, погрызи покуда, — Прохор протянул гостю хлеб. — Хлебушек ржаной, свой. Мука нынче дорога, да слава Богу, есть ещё.

Антон взял ломоть дрожащими руками. Хлеб был тяжёлым, плотным, с кислинкой, с грубыми крупинками непросеянной муки, с твёрдой, почти чёрной коркой. Он откусил — и едва не застонал от наслаждения. Никакой ресторанный деликатес в прошлой жизни не казался ему таким вкусным. Голод — лучшая приправа, но дело было не только в нём. Этот хлеб был настоящим. В нём чувствовался труд: пахота, сев, жатва, помол, замес, выпечка. В каждом куске — пот и забота. Антон ел медленно, стараясь не давиться, и думал о том, что в своей прошлой жизни покупал хлеб в супермаркете, не задумываясь, откуда он берётся, и половину выбрасывал зачерствевшим.

Прохор налил из горшка в глиняную миску горячую похлёбку — какое-то варево из крупы, репы и сушёной зелени, без мяса, но наваристое и духовитое. Поставил перед гостем деревянную ложку.

— Хлебай. Не торопись, а то после голодухи нутро схватит.

Антон хлебал, обжигаясь, и чувствовал, как тепло разливается по телу, как возвращаются силы, как проясняется голова. Старик сидел напротив, подперев бороду рукой, и смотрел на него — не зло, не подозрительно уже, а скорее с любопытством и с той спокойной задумчивостью, что приходит к одиноким людям, истосковавшимся по живому собеседнику.

— Ешь, ешь, — приговаривал он. — Отъедайся. Вон какой худой да бледный — краше в гроб кладут. Где ж тебя так уморило-то?

— В лесу плутал, — отозвался Антон, дохлёбывая. — Спасибо тебе, дедушка Прохор. Век не забуду. Спас ты меня.

— Не меня благодари, Бога благодари, — старик перекрестился на икону. — Это Он тебя ко мне привёл. Я тут один как перст. Уж и забыл, когда с человеком-то говорил по-людски. — Он вздохнул. — Бабка моя третий год как преставилась. Деток нам Бог не дал. Вот и доживаю век один, с пчёлами да с лесом. Они, пчёлки-то, — твари Божии, безгрешные. С ними и душе спокойно.

Антон слушал, и в груди разливалось тепло — не только от похлёбки. Этот суровый с виду старик оказался добрым, мудрым, одиноким человеком. И впервые с момента переноса Антон почувствовал, что, может быть, не всё потеряно. Что в этом жестоком, чужом веке есть и доброта, и тепло, и протянутая рука.

Наевшись, он почувствовал, как разморило от тепла и сытости. Глаза слипались. Но он понимал: расслабляться нельзя. Нужно завоевать доверие старика, узнать у него всё, что можно, обзавестись одеждой и осторожно расспросить о мире.

— Дедушка Прохор, — начал он осторожно. — А что в миру делается? Я долго в дороге был, в глуши. Не знаю ничего. Слышал, беспокойно нынче на Руси?

Лицо старика помрачнело. Он тяжело вздохнул, перекрестился.

— Ох, беспокойно, мил человек. Лихие времена настали. Бог отвернулся от земли Русской за грехи наши. — Он понизил голос, будто стены могли подслушать. — Царя-то, Василья Ивановича, сказывают, с престола скинули. Бояре в Москве сели. А теперь, люди бают, ляхов в столицу пустить хотят, королевича ихнего на царство звать. Польского. Слыхано ли — на святой Руси иноверец царём!

Антон слушал, и сердце колотилось. Энциклопедия не врала. Всё сходилось. Сентябрь 1610-го. Семибоярщина. Поляки на пороге Москвы.

— А по дорогам, — продолжал Прохор, и голос его дрогнул, — лихие люди ходят. И ляхи, и казаки, и свои разбойники — тати. Деревни жгут, людей грабят да убивают, баб бесчестят. Намедни, сказывали, деревню за рекой пожгли — дотла. Народ кто куда разбежался, в леса попрятался. Голод опять же. Третий год недород. Люди траву едят, кору толкут. А кое-где, страшно молвить, и до людоедства дошло...

Старик умолк, глядя в огонь печи. Отблески пламени плясали на его морщинистом лице, и в выпуклых глазах Антон увидел отражение всей боли этой страшной эпохи — голода, войны, смерти, безвластия.

— Вот такие времена, Антон-заморский, — тихо закончил Прохор. — Не знаю, за что нас Бог карает. А только терпеть надо. Терпеть да молиться. Авось сжалится Господь, пошлёт замирение.

Антон молчал. Он знал то, чего не знал старик. Знал, что замирение придёт. Что через два года, в 1612-м, поднимется народ, соберётся ополчение, прогонят поляков. Что Смуте суждено кончиться. Это знание жгло его изнутри, просилось наружу — сказать, утешить, обнадёжить. Но он сдержался. Время ещё не пришло. Сначала надо было выжить самому. Понять этот мир. Найти своё место в нём.

— Сжалится, дедушка, — только и сказал он тихо. — Непременно сжалится. Кончатся лихие времена. Вот увидишь — встанет народ, прогонит ляхов, и сядет на Москве свой, русский царь. И будет мир.

Прохор удивлённо посмотрел на гостя — откуда, мол, в этом измождённом бродяге такая уверенность? Но в словах его было столько спокойной твёрдости, что старик невольно перекрестился.

— Твоими бы устами да мёд пить, — пробормотал он. — Дай-то Бог. Дай-то Бог.

За окном сгущались сумерки. Прохор зажёл лучину, вставил её в светец — железную рогульку над лоханью с водой, куда падали угольки. Изба наполнилась дрожащим, неверным светом и новым запахом — горящего смолистого дерева.

— Заночуешь у меня, — решил старик. — Куда тебе на ночь глядя, в лес, к волкам. Завтра отдохнёшь, оклемаешься, а там и пойдёшь, куда тебе надо. На лавке вон постелю.

— Спасибо тебе, дедушка, — искренне сказал Антон. — Век не забуду твоей доброты.

И он не лукавил. В этом тёмном, дымном, бедном жилище, рядом с этим суровым и добрым стариком, он впервые за все эти дни почувствовал себя почти в безопасности. Здесь было тепло. Здесь его накормили. Здесь к нему отнеслись по-человечески.

Засыпая на жёсткой лавке, укрытый старым овчинным тулупом, который дал ему Прохор, под мерное дыхание старика и потрескивание догорающей лучины, Антон думал о том, что завтра начнётся его настоящая жизнь в этом веке. Что нужно учиться. Учиться всему — говорить, работать, выживать. Что у него есть знание будущего — оружие и проклятие одновременно. И что, может быть, не случайно судьба забросила его именно сюда, именно в это время.

С этой мыслью он и уснул — глубоко, спокойно, впервые без страха.

Глава 7. Наука бортника

Антон проснулся от того, что кто-то осторожно, но настойчиво тряс его за плечо. Он открыл глаза — и не сразу понял, где находится. Низкий закопчённый потолок, дрожащий полумрак, запах дыма и мёда. Потом память вернулась разом: лес, перенос, заимка, старик Прохор. Сон не был сном. Он по-прежнему здесь.

— Вставай, заморский, — над ним склонилось бородатое лицо хозяина. За волоковым оконцем серел рассвет. — Заспался. Солнце скоро встанет, а у нас, у лесных людей, кто рано встаёт, тому Бог подаёт. Полежишь — пчела мёд унесёт.

Антон сел, потёр лицо. Тело ломило после жёсткой лавки, но голова была ясной, и впервые за много дней он не чувствовал голода — сытная вчерашняя похлёбка сделала своё дело.

— Доброе утро, дедушка Прохор, — отозвался он, нарочно растягивая слова на местный лад.

— Утро доброе, как Бог даст, — степенно ответил старик и протянул гостю ковш. — Нака, умойся да испей. Вода ключевая, студёная.

Антон вышел вслед за хозяином из избы — и зажмурился от свежести раннего утра. Над поляной стоял лёгкий туман, цеплявшийся за траву и кусты. Солнце ещё не показалось из-за деревьев, но небо на востоке уже наливалось розовым и золотым. Травы были седой от обильной росы, и каждая травинка, каждая паутинка между стеблями была унизана крошечными, сверкающими, как алмазы, каплями. Воздух был такой чистый, прохладный и сладкий, что у Антона закружилась голова. Где-то в чаще уже завёл свою бесконечную песнь зяблик, и ему вторили десятки других птиц. От ручья тянуло водой и сыростью. От пасеки, едва пробуждавшейся в первых лучах, — мёдом и воском.

Антон умылся ледяной водой из ручья — и сонливость как рукой сняло. Он стоял на берегу, смотрел, как из-за чёрной стены леса медленно выкатывается багровое солнце, как загораются и тают капли росы, как поднимается и редет туман, — и впервые за долгое-долгое время в нём шевельнулось что-то похожее на простое, чистое счастье. В прошлой жизни он встречал рассвет редко — разве что в иллюминаторе самолёта или сквозь немытое стекло офиса после ночного аврала. Здесь рассвет был событием. Здесь природа была не картинкой на экране, а живой, дышащей, огромной силой, частью которой ты становился, хотел ты того или нет.

— Ну, налюбовался? — окликнул его Прохор беззлобно. — Идём, дело покажу. Раз уж ты у меня застрял, без дела сидеть не годится. У нас лежебок не любят. Хлеб даром не ест никто.

И Прохор повёл гостя к пасеке.

Так начался для Антона первый его рабочий день в семнадцатом веке — и первый урок науки выживания.

Старик показал борти — долблёные колоды и естественные дупла, в которых селились пчёлы. Он объяснил, как ставят новую бортю, как заманивают рой, как берут мёд, не губя пчелиную семью, оставляя ей запас на зиму. Антон, которого с детства учили, что мёд берётся из магазина в стеклянной банке, слушал, раскрыв рот. Это была целая наука — древняя, выверенная веками, основанная на тонком знании повадок диких пчёл, на наблюдательности, на терпении.

— Пчела, она умная, — говорил Прохор, окуривая дымом из тлеющего гнилушками горшка очередную колоду. Дым успокаивал пчёл, и они не жалили. — Пчела — она Божья тварь, безгрешная. Её обижать нельзя. Возьмёшь у неё лишнего — зимой помрёт с голоду, и тебе мёду не будет. А оставишь ей сполна — она тебе на будущий год вдвое отдарит. С пчелой по-честному надо. Как с человеком добрым.

В этой простой крестьянской мудрости Антон, привыкший к миру, где выжимали максимум прибыли любой ценой, услышал что-то глубокое и важное. Не бери лишнего. Не губи то, что тебя кормит. Живи в ладу с тем, что даёт тебе жизнь. Эти люди, которых он по школьной привычке считал тёмными и забитыми, на деле владели мудростью, которую его собственный век растерял в погоне за прибылью.

Помогая старику — поднося, придерживая, окуривая, — Антон ловил каждое слово, каждое движение. Он учился. И не только бортному делу. Он учился говорить. Перенимал у Прохора слова, обороты, выговор. Запоминал, как старик называет вещи: не «лес», а «бор», не «болото», а «топь» да «трясина», не «утро», а «затра». Заучивал поговорки, присказки, божбу. К полудню он уже мог сносно поддержать разговор, и Прохор реже удивлялся его «заморскому» выговору.

За работой и беседой Антон осторожно, исподволь выпытывал у старика всё, что мог о здешнем мире. И складывал куски в общую картину.

Деревня, которую он видел, называлась Лучки и стояла в трёх вёрстах вверх по реке. Жило в ней дворов пятнадцать. Принадлежала она — точнее, земля под ней — какому-то боярину, имени которого Прохор толком не знал: «дальний барин, в Москве сидит, к нам и носу не кажет». Крестьяне платили оброк, отработывали барщину, но в последние годы, в Смуту, всё пошло прахом — приказчики разбежались, оброк собирать стало некому, и деревня жила сама по себе, как могла.

Ближайший город — Тверь — был далеко, вёрстах в восьмидесяти, и путь туда лежал через опасные, разорённые войной места. Ближе был городок-крепостца на торговом тракте, где сидел воевода с малым гарнизоном, — но и там, по слухам, было неспокойно: то ли поляки заняли, то ли тушинцы, то ли свой воевода держался, никто толком не знал.

— Дороги нынче — погибель, — говорил Прохор, качая головой. — По большой дороге идти — голову сложить. Там и ляхи рыщут, и казаки, и тати лесные. Кто с торбой пойдёт — того и пощиплют, а то и вовсе живота лишат. Мы тут, в лесу, тише живём. Лес — он кормилец и защитник. В лесу-то лихой человек не больно разгуляется: тут каждая тропка наша, а ему — чужая. Заплутает да сгинет.

К вечеру Антон вымотался — непривычная физическая работа давала о себе знать, ныли спина и руки. Но это была приятная усталость, та, какой он не знал в офисе, где уставала голова, а тело затекало от неподвижности. Здесь уставало тело, а голова, наоборот, прояснялась.

Вечером, после ужина — снова похлёбка да хлеб, но теперь ещё и с мёдом, который Прохор щедро выставил гостю, — они снова сидели у догорающей лучины, и старик, разговорившись, рассказывал о своей жизни. О том, как пришёл сюда молодым ещё, как ставил избу, как жил с покойной бабкой, как хоронил её одну, без попа — поп далеко, а везти зимой не на чем было. О лесе, о зверье, о приметах. О том, как отличить съедобный гриб от поганки, какие травы от каких болезней, как читать следы на снегу, как чуют погоду.

Антон слушал жадно. Каждое слово старика было бесценным знанием — тем самым, без которого ему в этом веке было не выжить. Он понял, что Прохор — это подарок судьбы. Учитель, наставник, посланный ему в самый нужный момент. И он поклялся себе впитать всё, чему сможет научить его этот мудрый старик.

— Дедушка Прохор, — сказал он, когда лучина уже почти догорела. — А можно мне у тебя погостить ещё? Помогу тебе по хозяйству, дров наколю, что скажешь — сделаю. А ты меня лесу научи. Чует моё сердце — придётся мне тут, в этих краях, жить. А я к лесу непривычный, пропаду без науки.

Прохор долго молчал, глядя на гостя своими выцветшими, но зоркими глазами. Что-то он в нём видел, чего не говорил вслух. Чужого, странного, непонятного. Но видел и другое — что человек не лихой, что работающий, что с ним, со стариком, почтителен и добр.

— Оставайся, — сказал он наконец. — Вдвоём-то оно веселее. И мне подмога на старости лет. Только уговор, Антон: кто ты да откуда — про то не пытай меня, а я тебя не спрошу. Вижу — тайна на тебе какая-то. Ну и неси её сам, Бог тебе судья. Лишь бы зла от тебя не было. А зла я в тебе не вижу.

— Не будет зла, дедушка, — твёрдо сказал Антон. — Вот те крест.

И перекрестился — на этот раз уже привычно, не путаясь.

— Своих-то деток Бог нам с покойницей не дал, — добавил Прохор без жалобы, просто, как о давнем. — Думал, осерчал на меня за что. А под старость понял: затем и не дал, может, чтоб я на чужих не своё высматривал, а просто помогал, кто Богом послан. Вот ты послан — я и помогаю. А ты не привыкай. Тебе не у меня вековать. Тебе дальше.

Глава 8. Огниво и спичка

Дни потекли один за другим, складываясь в недели. Сентябрь катился к закату, ночи становились всё холоднее, а дни — короче. Лес менял наряд: берёзы и осины вспыхивали золотом и багрянцем, по утрам трава белела от инея, а вода в ручье стала такой ледяной, что у Антона при умывании сводило руки.

Он прижился на заимке. Тяжёлая физическая работа закалила его, согнала городскую вялость; руки загрубели, покрылись мозолями, на ладонях выросла твёрдая кожа. Он научился колоть дрова — сначала мазал, бил мимо, насадил топор на колоду так, что Прохор хохотал, но мало-помалу приновился, и теперь поленья разлетались под точным ударом. Научился носить воду на коромысле — это, оказывается, тоже было искусство: с непривычки вёдра расплёскивались, плечи ныли, но потом тело само нашло нужный ритм, и ноша перестала быть мукой. Научился ходить в лаптях, которые Прохор сплёл ему взамен ботинок — те Антон берёт, спрятав в рюкзаке, надевал лишь изредка. Лапти, к его удивлению, оказались удобными, лёгкими, тёплыми с онучами — и, главное, не выдавали в нём чужака.

Прохор дал ему и одежду — старую рубаху, порты, поношенный, но крепкий зипун. Теперь, глядя на своё отражение в спокойной воде ручья, Антон видел не московского тимлида, а бородатого (он перестал бриться) мужика в холщовой рубахе — обычного человека этого века. Только глаза выдавали — слишком много в них было того, чего здесь быть не могло. Но глаза мало кто читает.

Он учился. Учился постоянно, жадно, как никогда не учился в своей прошлой жизни. Прохор оказался кладёзем знаний — практических, выверенных опытом поколений. Антон узнал, какие грибы можно есть, а какие — смерть. Какие ягоды и травы съедобны, какие целебны, какие ядовиты. Как ставить силки на зайца и петли на птицу. Как читать лесные следы — где прошёл лось, где пробежала лиса, где залегла на день рысь. Как по облакам, по поведению птиц и зверей, по тому, как стелется дым, угадывать погоду. Как развести огонь без всего — кресалом и трутом.

Вот тут-то и случилось первое испытание, едва не выдавшее тайну Антона.

Однажды дождливым, промозглым вечером Прохор долго бился над сырым трутом, высекая искры огнивом — кресалом из закалённого железа и кремнём. Искры сыпались, но влажный трут не загорался. Старик чертыхался вполголоса, дул, чиркал снова и снова. А Антон, забывшись, машинально полез в карман зипуна, куда он на всякий случай переложил из рюкзака коробок спичек, — и, прежде чем сообразил, что делает, чиркнул спичкой.

Вспыхнул огонёк.

Прохор замер. Кресало выпало у него из рук. Он уставился на горящую спичку — на крошечный, ровный, ниоткуда взявшийся огонёк в пальцах гостя — с таким ужасом и изумлением, что Антон похолодел.

Несколько мгновений старик молчал, глядя то на огонь, то на лицо Антона. Потом медленно, хрипло выговорил:

— Что... что это, Антон? Откель огонь? Без кресала, без трута... сам собой? — Голос его дрожал. — Это что ж — колдовство?

Спичка догорела, обожгла пальцы. Антон зашипел, бросил её. В избе снова стало темно, только тлели угли в печи. И в этой темноте Антон услышал, как тяжело, испуганно дышит старик, как он отодвинулся к стене, как зашептал что-то — молитву, должно быть.

Мозг Антона лихорадочно работал. Соврать, что показалось? Бесполезно — старик видел ясно. Сказать правду? Невозможно — не поймёт, испугается, прогонит, а то и хуже. Назвать колдовством? Смертельно опасно. За колдовство в этот век жгли, топили, забивали кольями.

И тогда Антон сделал единственное, что мог придумать. Он не стал ни врать, ни признаваться. Он сказал полуправду — ту, в которую старик мог поверить и которая не пугала бы его насмерть.

— Не колдовство это, дедушка, — сказал он тихо, спокойно, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Не бойся. Перекрестись — видишь, не сгинул я, не растаял. Нечисть креста боится, а я вот крещусь. — И он широко перекрестился. — Это... хитрость такая. Заморская. У нас в дальних краях люди мудрые научились огонь в малой палочке держать. Серой особой палочку мажут, и она от тёрки занимается. Хитрость, рукоделие, а не бесовство. Как порох у пушкарей — он ведь тоже вспыхивает, а никто пушкаря колдуном не зовёт.

Проход слушал, и Антон видел, как страх в его глазах борется с любопытством. Сравнение с порохом, кажется, попало в цель — про порох старик слышал, знал, что есть на свете вещи, которые горят и взрываются хитростью человеческой, а не дьявольской.

— Дай-ка... глянуть, — выговорил Проход не сразу, всё ещё опасливо.

Антон чиркнул ещё одну спичку. Старик придвинулся, разглядывая огонёк, потом под светом лучины — обгоревшую палочку. Осторожно потрогал коробок, серную тёрку. Понюхал — пахло серой, знакомо. Дал Антону чиркнуть третью и сам, дрожащей рукой, попробовал — и когда спичка вспыхнула в его пальцах, отдернул руку, но уже скорее от неожиданности, чем от страха.

— Ишь ты... — пробормотал он, и в голосе уже звучало не суеверие, а изумление мастерового человека перед хитрой вещью. — Серой, говоришь, мажут... И вот так, от тёрки... Эх до чего люди-то додумались в заморских краях. — Он покачал головой. — А много ли их у тебя, палочек-то этих?

— Немного, — честно ответил Антон. — Кончатся — и не достать боле. Так что без нужды жечь не будем. Кресалом обойдёмся, как ты учил.

Этот ответ окончательно успокоил старика — потому что был разумным, хозяйственным, человеческим. Колдун не стал бы беречь своё колдовство, у колдуна оно даровое. А вещь редкую, дорогую, привозную беречь — это понятно, это по-людски.

— Ну, гляди, — Проход всё ещё качал головой, но страх ушёл. — Заморская хитрость... Чудно. Только ты, Антон, ты вот что. — Он понизил голос, посмотрел серьёзно, в упор. — Ты эту свою хитрость при чужих людях не кажи. Слышишь? Ни-ни. Я-то старик, я повидал, я понял — рукоделие это. А другой кто увидит — закричит «колдун!», и не отмоешься. Народ нынче тёмный, пуганный, злой. Сожгут — и разбираться не станут. Понял?

— Понял, дедушка, — серьёзно ответил Антон. — Спасибо. Не буду.

Урок этот Антон запомнил на всю жизнь. Он понял, как тонок здесь лёд под ногами. Как одно неосторожное движение, один предмет из будущего может стоять ему головы. Он понял, что должен спрятать всё. Телефон, спички, зажигалку, нож фабричной стали, всё — глубоко, надёжно, и не доставать без самой крайней нужды. Что отныне он должен быть только Антоном-странником, погорельцем, заморским странником, кем угодно — но не человеком из будущего.

В ту ночь, лёжа на лавке и слушая, как дождь стучит по дранке крыши, Антон долго не мог уснуть. Он думал о том, что чудом избежал беды. И о том, что Проход — добрый, мудрый старик — мог бы стать ему смертельной угрозой, испугайся он чуть сильнее. И о том, что в этом мире доверять нельзя никому до конца. Что он один. Совсем один, со своей страшной тайной, среди людей, которые не должны её узнать.

Но рядом мерно, спокойно дышал во сне старик Проход — тот, кто накормил его, приютил, учил, не выдал. И Антон подумал, что, может быть, и не совсем один. Что в этом жестоком веке всё-таки есть на кого опереться. Хотя бы на одного человека.

И с этой мыслью, под шум дождя, он наконец уснул.

Глава 9. Гости с большой дороги

Беда, как водится, пришла неожиданно — в ясный, по-осеннему прозрачный день середины октября, когда ничто, казалось, её не предвещало.

Антон с Прохором были на дальней борти, версте в полутора от заимки, — снимали последний осенний мёд. Стоял один из тех чудных дней золотой осени, когда воздух недвижим и звонок, небо высокое и густо-синее, а лес весь горит — золото берёз, багрянец осин, тёмная зелень елей. Под ногами шуршал сухой палый лист, в воздухе плыли серебряные нити паутины — бабье лето. Где-то курлыкали, собираясь в стаи, журавли, готовясь к отлёту, и от их прощальных криков сжималось сердце.

И вдруг сквозь эту мирную тишину, со стороны заимки, донёсся звук, от которого оба замерли. Конское ржание. Грубые мужские голоса. Лай — но не их собаки (у Прохора был старый пёс Серко), а чужой. И — стук, треск, будто что-то ломали.

Прохор побледнел. Сухая рука его, державшая нож, дрогнула.

— Лихие люди, — прошептал он. — На заимку пришли. Господи Иисусе...

Он схватил Антона за рукав, потянул в чашу, за стволы.

— Тихо. Не дыши. Авось не найдут нас тут. Заберут, что найдут, да уйдут. Лишь бы избу не пожгли...

Они залегли в густом ельнике, на пригорке, откуда сквозь ветви видна была заимка. И Антон, впервые за всё время, увидел воочию ту страшную изнанку Смуты, о которой только слышал.

У избы Прохора хозяйничали четверо. Двое верхом — на худых, заезженных лошадейках, ещё двое спешили. Это были не поляки и не казаки — обычные русские мужики, но страшные, одичавшие. Оборванные, заросшие, с дикими, голодными, злыми глазами. Бывшие крестьяне, или беглые холопы, или ратники из разбитых отрядов — те, кого война и голод выбросили из жизни, лишили дома, семьи, совести, превратили в волков. Тати. Разбойники с большой дороги, которых в Смуту развелось без счёта.

Вооружены они были чем попало: у одного — старая сабля, у другого — рогатина, у третьего — топор, у четвёртого — самопал, фитильное ружьё. Старый Серко, дворовый пёс, лежал у крыльца — зарубленный. Антон сжал зубы.

Тати рыскали по двору, по избе, выволакивали наружу нехитрый Прохоров скарб. Один таскал мешок — должно быть, с мукой. Другой выкатывал кадку. Третий выламывал двери в хлев, где у старика жила единственная коза. Четвёртый, тот, что с самопалом, стоял поодаль, поглядывая по сторонам, — сторожил.

— Мёд ищите! — заорал, видимо, главарь — кряжистый, чернобородый, с саблей. — У бортника завсегда мёд водится! И воск! За воск нынче на торгу хорошо дают!

Антон лежал в ельнике рядом с Прохором и чувствовал, как старик мелко дрожит — не от страха за себя, а от бессильной ярости и горя. Вся жизнь старика, всё, что он нажил трудом долгих одиноких лет, разорялось у него на глазах, а он ничего не мог поделать. Четверо вооружённых против безоружного старика и его странного гостя.

— Не лезь, — выдохнул Прохор, будто прочитав мысли Антона. — Слышишь, не лезь. Зарубят. Пускай берут что хотят. Жизнь дороже. Изба бы цела осталась, да мы живы...

Антон молчал. В голове у него стремительно, как когда-то на работе при критическом сбое, прокручивались варианты. Четверо вооружённых. У него — перочинный нож да фабричный охотничий нож в рюкзаке (рюкзак, кстати, был с ним — он держал в нём инструмент для бортничества). Вступать в драку — безумие. Прохор прав. Но и смотреть, как разоряют дом старика, который его спас...

И тут случилось то, чего боялся Прохор.

Один из татей выскочил из избы с горящей головнёй из печи.

— Спалить её к чёрту! — крикнул он. — Чтоб старый хрыч, как вернётся, на пепелище был!

— Изба! — простонал Прохор, дёрнувшись было встать. Антон удержал его, вдавил в землю.

Тать ткнул головнёй в сухую солому застрехи. Огонь нехотя, потом всё жаднее побежал по соломе вверх, к дранке крыши. Повалил дым.

И в этот миг что-то в Антоне переломилось.

Он мог стерпеть многое. Мог затаиться, выждать, спасти свою шкуру — холодный инженерный расчёт говорил: не лезь, ты проиграешь. Но он смотрел на лицо старика — на единственного человека в этом веке, кто протянул ему руку, кто кормил его, учил, не предал, — смотрел, как этот человек, дрожа, глядит на гибель всего, что у него было, и в груди у Антона поднялась холодная, ясная, страшная злость. Не горячая, слепая, а именно холодная — расчётливая.

Драться в открытую нельзя. Значит, надо не драться. Надо напугать. Надо использовать то единственное оружие, которого у этих людей нет и быть не может, — и которое страшнее любой сабли. Страх перед неведомым.

— Дедушка, — быстро, шёпотом сказал Антон, уже стаскивая рюкзак. — Лежи тут. Что бы ни увидел, что бы ни услышал — лежи и не высывайся. Молись и не двигайся. Понял?

— Ты что задумал? — испугался Прохор. — Антоша, не дури, убьют...

— Не убьют. Лежи.

Антон выхватил из рюкзака то, на что была вся надежда. Не нож. Зажигалку — газовую, дешёвую, но дающую ровное синее пламя. И ещё кое-что — пачку петард, оставшихся в боковом кармане рюкзака с прошлого Нового года; он сам не помнил, как они там оказались, наткнулся на них пару дней назад, удивился и переложил поглубже. Сейчас они были дороже золота. И — фонарик. Маленький, но яркий светодиодный фонарик.

План родился мгновенно, целиком, как готовое решение. Эти люди — тёмные, суеверные, насмерть запуганные Смутой, голодом, разговорами о Божьей каре, о бесах, о конце света. Они боятся неведомого больше, чем сабли. Значит, надо стать для них неведомым. Стать карой. Стать тем, от чего бегут не разбирая дороги.

Антон скинул зипун, оставшись в одной светлой холщовой рубаше. Растрепал волосы, бороду. Измазал лицо землёй и золой — благо рядом было старое кострище. Лицо стало страшным, диким, нечеловеческим. Потом сунул петарды в карман, фонарик — в одну руку, зажигалку — в другую.

И, выйдя из укрытия чуть в стороне, чтобы не выдать, где прячется Прохор, он шагнул из леса к горящей избе — не таясь, а наоборот, во весь рост, медленно, страшно.

И закричал.

Не словами — нет. Он закричал так, как кричат в фильмах ужасов, как воет ветер в трубе, протяжно, утробно, нечеловечески, на грани визга. И на ходу, прикрывая ладонью, чиркнул зажигалкой — синий язык пламени вспыхнул в его руке сам собой, без кресала, без огнива, из ничего.

Тати обернулись на крик — и оцепенели.

Из тёмного леса, на фоне разгорающегося пожара, к ним медленно шёл человек со страшным, чёрным, нечеловеческим лицом, в развевающейся белой рубаше, и в руке его из голой ладони бил синий, неземной, дьявольский огонь. И он был — был так, что кровь стыла в жилах.

— Прокляты-ы-ы! — взвыл Антон, и эхо разнесло его вой по лесу. — Огнём гореть вам! Душу заберу-у-у!

Он вскинул фонарик и ударил ярким, ослепительным, режущим глаза белым лучом прямо в лица оторопевших татей. Ничего подобного эти люди не видели и видеть не могли — луч света из руки человека, белый, как молния, бьющий с двух десятков шагов прямо в зрачки.

— А-а-а! Свят, свят, свят! — заверещал один, роняя мешок.

И тогда Антон швырнул в их сторону петарду — поджёг зажигалкой и метнул. Петарда упала между татями и гроыхнула — резко, оглушительно, с искрами и дымом, как маленький гром среди ясного неба.

Этого было достаточно.

— Бес! Нечистый! Анчихрист! — заорал чернобородый главарь, и в голосе его, ещё минуту назад грозном, теперь был чистый, животный ужас. — Спасайся, братцы! Бежи-и-и!

Тати кинулись врассыпную. Двое конных, бросив добычу, нахлёстывая лошадей, понеслись прочь по тропе, едва не сшибив друг друга. Двое пеших мчались следом, бросив и мешки, и кадки, и козу, и оружие, — один обронил даже самопал, другой запутался в собственных ногах, упал, вскочил и помчался ещё быстрее, голося на бегу молитвы вперемешку с проклятиями. Антон бросил вслед ещё одну петарду — для верности, — и она гроыхнула им вдогонку, прибавив беглецам прыти.

Через минуту на заимке не осталось ни одного тата. Только удаляющийся, затихающий вдали топот, треск кустов да испуганные вопли.

Антон, тяжело дыша, опустил руки. Сердце колотилось как бешеное — теперь, когда всё кончилось, на него навалилась запоздалая дрожь. А ведь могло обернуться иначе. Будь они посмелее, посообразительнее, кинься на него с саблей — и никакие фонарики не спасли бы. Он рискнул всем. И выиграл — на одном лишь страхе, на темноте чужих, суеверных душ.

Но времени на дрожь не было. Изба горела.

— Дедушка! — крикнул Антон, оборачиваясь к лесу. — Беги сюда! Воду! Пожар тушить!

Прохор, бледный как полотно, вылез из ельника. Он смотрел на Антона с таким выражением, что тому стало не по себе, — со смесью ужаса, изумления и благоговения. Но времени разбираться не было.

Они кинулись тушить. Огонь успел заняться только на застрехе и краю крыши — сырая после недавних дождей дранка горела плохо. Вдвоём, нося воду из ручья вёдрами, ковшами, чем попало, заливая, забрасывая землёй, сбивая пламя мокрыми тряпками, они отстояли избу. Сгорел только угол кровли да обуглилась стена — поправимо. Главное, сруб уцелел.

Когда последние язычки пламени зашипели и погасли, оба, чёрные от копоти, мокрые, измотанные, опустились прямо на землю у крыльца — рядом с зарубленным Серко. Прохор молча перекрестился над псом. По морщинистой щеке старика катилась слеза.

Долго молчали, переводя дух.

Потом Прохор повернулся к Антону. Долго, пристально смотрел на него — на чёрное от золы лицо, на руки, в которых ещё недавно бил неземной огонь. И спросил тихо, без страха уже, но с глубокой, отчаянной серьёзностью:

— Кто ты, Антон? Скажи мне правду. Перед Богом скажи. Человек ли ты? Огонь из руки... свет, как молния... гром из ничего... Кто ты есть?

Антон встретил его взгляд. Он понимал: лгать больше нельзя. Этот человек только что видел слишком многое. И этот человек спас ему жизнь, а он — спас этому человеку дом. Между ними не должно быть лжи.

Но и всю правду — про двадцать первый век, про перенос во времени — старик не вместил бы, сошёл бы с ума или решил бы, что Антон одержим.

И Антон выбрал срединный путь — ту правду, которую старик мог понять и принять.

— Человек я, дедушка, — сказал он тихо, устало. — Самый обыкновенный человек. Крещёный. Не бес, не колдун. Вот, гляди. — Он перекрестился, медленно, истово. — А огонь да свет да гром — это всё не моё волшебство. Это вещи. Хитрые вещи, рукоделие людское,

из дальних, заморских краёв, где я жил. Помнишь палочку огненную, спичку? Вот и это такое же — мудрёные приспособы, какие у нас умеют делать, а у вас покуда нет. Они страшны на вид тому, кто не знает. А знающему — простой инструмент, вроде топора или кресала. Я не пугать тебя хотел утаиванием. Я берёг — потому что знал: увидят люди, закричат «колдун», и пропал я. Ты сам меня учил молчать, помнишь?

Прохор слушал, и Антон видел, как мучительно борется в старике вера и сомнение. Как хочет он поверить — потому что человек этот спас его, не сделал зла, крестится, не боится креста и Имени Божьего. И как страшно ему поверить во что-то столь невозможное.

— Из заморских краёв, — медленно проговорил старик. — Где такие вещи делают... Огонь в палочке, свет в трубке, гром в горсти... — Он покачал головой. — Я ведь старый дурак, я и про порох-то слышал, а в глаза не видел. А ведь есть он, порох-то. И пушки есть, что огнём бьют. Значит, могут люди и иное измыслить, коли Бог ума дал. — Он помолчал. — Ты только мне, старику, вот что скажи начистоту, по совести. Зла на тебе нет? Ты не с нечистым ли связался, не душу ли продал за вещи эти?

— Нет, дедушка, — твёрдо, глядя прямо в глаза, ответил Антон. — Душа моя при мне. С нечистым не знался. Вот те крест, вот те икона. — Он перекрестился снова, на тёмный лик в красном углу, видимый сквозь распахнутую дверь. — Я просто человек из далёкой стороны, которого судьба занесла к тебе. И коли я тебе зла не сделал, а сделал доброе — дом твой от татей отстоял, — то и суди обо мне по делам, а не по вещам.

Старик долго молчал. Потом тяжело поднялся, подошёл, положил Антону на плечо сухую, жёсткую руку.

— По делам, — сказал он. — По делам сужу. А дела твои — хорошие. Ты мне жизнь спас и дом отстоял, ничего за то не прося. Лихой человек так не сделает. Колдун, что душу продал, — тоже. — Он перекрестился. — Стало быть, прислал тебя Господь. За какой надобностью — Ему виднее. А я тебя приму как сына, какого мне Бог не дал. И тайну твою с собой в могилу унесу. Верить?

— Верю, дедушка, — сказал Антон, и горло у него перехватило. — Спасибо.

Они обнялись — старик и пришелец из немыслимого далека, два одиноких человека, которых судьба свела на лесной заимке в самый страшный год русской Смуты. И в этом объятии было больше правды и тепла, чем во всех словах.

А потом стали разбирать разорённое подворье, считать убытки, прикидывать, как поправить крышу до холодов. Жизнь продолжалась. И теперь их было двое — по-настоящему двое, без тайн и страха друг перед другом.

Глава 10. Что делать дальше

Несколько дней после набега ушли на то, чтобы привести заимку в порядок. Антон с Прохором перебрали обгоревший угол кровли, настлали новую дранку — благо старик умел всё, и Антон под его руководством быстро осваивал плотницкое дело. Похоронили Серко под старой сосной. Собрали и снесли в избу брошенное татями оружие — кривую саблю с зазубренным лезвием, рогатину, топор и тот самый самопал, что обронил в страхе один из беглецов. Прохор повертел самопал в руках, понюхал ствол.

— Фитильный, — определил он. — Стрелять-то умеешь, Антон?

— Не доводилось, — честно ответил тот. Стрелять из фитильного ружья семнадцатого века он, разумеется, не умел. Из современного автомата на сборах когда-то — да, но это была совсем другая наука.

— Научу, — сказал Прохор. — Пригодится. Времена такие, что без оружия в лесу — что без рук. Глядишь, ещё придут лихие. А ты их вдругорядь огнём заморским не больно-то напугаешь — пугало раз пугает, а кто очухается, тот и осмелеет.

Это было верно, и Антон это понимал. Фокус с фонариком и петардами сработал один раз, на внезапности, на ужасе. Но петарды кончатся, зажигалка иссякнет, заряд телефона и фонарика — тоже. Его «чудеса» были конечны. А вот уметь постоять за себя по-настоящему — саблей, ружьём, ножом, кулаком — нужно было учиться по-настоящему.

Вечерами, у лучины, они теперь говорили иначе — открыто, доверительно. Прохор больше не таился, и Антон, не открывая всей немыслимой правды о времени, рассказывал старику о «заморских краях» — а на деле о своём мире, переиначивая его на понятный лад. О городах, где дома выше самой высокой колокольни. О том, что люди там не пахнут и не сеют, а живут иным трудом. О повозках, что ездят без лошадей. О вестях, что летят за тысячи вёрст в единый миг. Прохор слушал, разинув рот, и крестился, и говорил «врѣшь, поди» — но слушал жадно, как ребёнок дивную сказку.

— И что ж, — спросил он как-то, — в краях тех всё хорошо? Сытно, мирно, нет ни войны, ни голода, ни мора?

Антон задумался. Как объяснить старику, что в том сытом, мирном, технологичном мире он, Антон, был несчастен? Что бежал оттуда — от пустоты, от одиночества в толпе, от жизни, которая казалась бессмысленной? Что здесь, на нищей лесной заимке, в дыму и холоде, среди опасностей, он впервые за много лет почувствовал себя живым?

— Сытно и мирно, — сказал он медленно. — А счастья... счастья там не больше, чем здесь, дедушка. Может, и меньше. Люди там сыты, да души у них голодные. Бегут куда-то всю жизнь, а куда — сами не знают. И друг другу — чужие. Вот ты меня, незнамо кого, накормил, приютил, спас. А там сосед соседа в лицо не знает.

Прохор покачал головой, не вполне понимая, но чувствуя за словами гостя какую-то горькую правду.

— Чудно́, — сказал он. — Сыты, а несчастны. Видать, не в одном хлебе дело-то. Душа — она своего просит.

И снова Антон поразился, как в простых словах этого неграмотного лесного старика заключена мудрость, которую его собственный, просвещённый век растерял и забыл.

Но главный разговор был о другом. О том, что делать дальше. Зима была на носу. Вдвоём зимовать на заимке было можно — припасов, хоть и пограбленных, при бережливости да с охотой хватило бы. Но Антон понимал: вечно отсиживаться в лесу нельзя. Он попал в этот мир не для того, чтобы стать вторым бортником. У него было знание. Знание того, что произойдёт. И где-то глубоко, ещё неясно, зрела мысль: а что, если это знание — не проклятие, а дар? Что,

если он здесь не случайно? Что, если он может — должен — как-то повлиять на ход событий, помочь этой истерзанной земле, людям, среди которых оказался?

Мысль была дерзкой до безумия. Кто он такой, чтобы вмешиваться в историю? Один человек, без власти, без денег, без имени. Но мысль эта, раз появившись, уже не отпускала.

— Дедушка, — сказал он однажды. — Вот ты сказывал — есть тут невдалеке городок, крепостца на тракте, где воевода сидит. Далеко ли до неё? И что там за люди?

Прохор посмотрел на него внимательно.

— Зачем тебе? — спросил он. — В городе нынче опаснее, чем в лесу. Там и власть чужая может сидеть, и расспросят тебя, кто да откуда, а у тебя ни грамоты, ни поручителя. Сцапают как беглого или как лазутчика — и поминай как звали.

— А всё же, — настаивал Антон. — Кто там воеводой? За кого стоит — за поляков, за бояр московских, за себя?

— Болтают разное, — Прохор пожал плечами. — Сказывали, сидит там воевода из дворян, человек будто крепкий, ляхам присягать не с хотел, за землю русскую стоять желает. Да только сила у него малая — гарнизон с гулькин нос, припасу мало, а кругом — то ляхи, то казаки, то тати. Долго ли продержится — Бог весть.

Антон молчал, думая. Воевода, не присягнувший полякам. Человек, стоящий за русскую землю. Может быть, именно с такими — с теми, кто не покорился, кто будет сопротивляться, из кого через год-полтора и сложится сила, что прогонит интервентов, — ему и стоит искать связи? Не сейчас, не сразу — он ещё слишком слаб, слишком чужд, слишком уязвим. Но в будущем. Когда обживётся, окрепнет, поймёт этот мир.

Он вспомнил записи в своём блокноте. 1611 год — Первое ополчение, неудача, гибель Ляпунова от казачьей розни. 1612 год — Минин и Пожарский, Нижний Новгород, поход на Москву, освобождение. Он знал, чем кончится. Знал победителей и побеждённых. Знал слабые места и роковые ошибки.

Что, если донести это знание до тех, кто будет сражаться? Предупредить о предательствах, о засадах, о роковых решениях? Подсказать? Один человек, знающий будущее, в нужном месте и в нужный час, мог бы изменить очень многое.

Голова кружилась от дерзости замысла. Антон одёрнул себя. Рано. Слишком рано. Сначала — пережить зиму. Окрепнуть. Стать здесь своим — настолько, чтобы ему поверили, чтобы его слушали. Обрести имя, лицо, место. А до тех пор — учиться, наблюдать, копить силы и знания.

— Дедушка, — сказал он наконец. — В город я покуда не пойду. Рано мне. Перезимуем здесь, колипустишь. А по весне — поглядим. Чует моё сердце, что не зря я сюда попал. Что есть мне в этом мире дело. Только какое — пока сам не до конца разумею.

Прохор долго смотрел на него своими выцветшими, мудрыми глазами.

— Оставайся, — сказал он просто. — А дело твоё... коли Бог тебя сюда привёл, стало быть, и дело укажет. Всему свой час. Не торопи. — Он помолчал, потом добавил тихо, почти про себя: — А я, дурак старый, всё думаю — за каким делом Господь мог послать к нам человека из дальних краёв, что огонь в горсти держит да грядущее, поди, ведаёт... Ты ведь ведаешь, Антон? Грядущее-то? Я по глазам твоим вижу — знаешь ты что-то, чего нам знать не дано.

Антон вздрогнул. Старик был куда проницательнее, чем казался.

— Знаю, дедушка, — тихо признался он, потому что лгать этому человеку уже не мог. — Кое-что знаю. О том, что будет. Но молчу — потому что страшно. И потому что не время.

— Молчи, — кивнул Прохор. — Молчи покуда. Грядущее — оно тяжкое знание, не всякому впору. Но придёт час — и скажешь. Кому надо — скажешь. — Он перекрестился. — На всё воля Божья. А мы с тобой — людишки малые. Наше дело — зиму пережить да руки в работе держать. Остальное — Бог управит.

И они снова замолчали, глядя на догорающую лучину, каждый думая о своём. Старый бортник — о грядущей зиме, о потерянном Серко, о странном госте, ниспосланном ему на старости лет. И Антон — о страшном и сладком бремени знания, о дерзкой мечте, что зрела в груди, и о том, что, может быть, впервые в жизни у него появилась настоящая, большая цель.

За оконцем падал первый снег — крупный, медленный, бесшумный. Зима вступала в свои права.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗИМА

Глава 11. Первый снег

Снег, начавшийся вечером, к утру укрыл всё. Антон вышел из избы на рассвете — и замер на пороге, поражённый. Поляна, лес, ручей, борти на деревьях — всё было занесено чистым, нетронутым, искрящимся под низким солнцем покровом. Тишина стояла такая, какой он никогда не слышал в своей прежней жизни, — полная, ватная, абсолютная. Ни гула машин, ни шороха проводов, ни далёкого рокота самолётов. Только редкое поскрипывание ветвей под тяжестью снега да его собственное дыхание, паром встающее в морозном воздухе.

Это была иная зима — не та городская слякоть с реагентами и серым месивом под ногами, которую он знал. Это была настоящая, первозданная русская зима, белая и безмолвная, прекрасная и беспощадная.

— Лёг снег-то, — сказал вышедший следом Прохор, шурясь на белизну. — Раненько нынче. Стало быть, зима долгая будет да суровая. Готовиться надо.

И началась подготовка к зиме — работа, которая не оставляла ни минуты праздности и от которой зависела сама жизнь.

Прохор учил, Антон учился. Они заготавливали дрова — много дров, потому что русская зима пожирает их без счёта. Антон махал топором до ломоты в плечах, и теперь поленья летели от его ударов ровно и точно. Они конопатили избу, затыкали мхом и паклей щели между брёвнами, чтобы не выдувало тепло. Перебирали и пересчитывали припасы — то, что осталось после набега татей. Муки было мало, и Прохор хмурился: до весны могло не хватить. Значит, надо было добывать пропитание в лесу — охотой и рыбной ловлей.

Охота зимой в семнадцатом веке оказалась тяжёлой и опасной наукой. У Прохора был старый лук — для крупного зверя слабоват, но на птицу и зайца годился — и рогатина для крупного зверя, если придётся защищаться. Был и тот трофейный фитильный самопал, но порох и пули к нему были на исходе, и старик берёт его для крайней нужды. Главным же оружием промысла были силки, петли и ловушки, которые Прохор ставил с великим искусством.

Антон ходил с ним проверять путики — длинные обходы по лесу, вдоль которых были расставлены ловушки. Он учился читать снег как открытую книгу. Вот цепочка аккуратных следов — прошёл заяц-беляк, и Прохор показывал, как по следу понять, куда зверёк бежал, кормился он или спасался. Вот двойная строчка лисьих следов. Вот глубокие, борозды — пробрёл по брюхо в снегу лось. А вот — широкие, мягкие, без когтей отпечатки, от которых Прохор насторожился и крепче сжал рогатину.

— Рысь, — тихо сказал он. — Хищница. Ближе прошла, давеча. Гляди в оба, Антон. Она с дерева на спину прыгнуть может, шею порвать. В лесу зимой — ухо остро держи.

Антон держал. Лес зимой был полон опасностей. Не только зверь — сам холод был врагом. Замёрзнуть, заблудиться, провалиться под лёд на реке, обморозиться — всё это означало смерть. Прохор вбивал в него азы лесной науки: как одеться, чтобы не вспотеть на ходу и не замёрзнуть на стоянке; как идти, чтобы не выбиться из сил; как развести огонь на морозе, в снегу; как определить путь без компаса — по мху на деревьях, по солнцу, по приметам.

И Антон впитывал всё это с той же страстью, с какой когда-то осваивал новый язык программирования или сложную систему. Только теперь ставкой была не премия и не похвала начальства, а сама жизнь. И это придавало учёбе остроту и смысл, какого он не знал прежде.

Вечерами, измотанные, они возвращались на заимку, отогревались у печи, ели нехитрую снедь — и Антон чувствовал глубокое, почти забытое удовлетворение. Удовлетворение человека, который своими руками добыл себе кров, тепло и пищу. Который не купил это за деньги,

заработанные неведомо за что, а взял у природы своим трудом, умением, потом. В прошлой жизни он зарабатывал хорошо, мог позволить себе многое — но никогда не чувствовал этой простой, глубокой, корневой связи между трудом и хлебом. Здесь эта связь была прямой и наглядной: потопаешь — полопаешь. Поленишься — пропадёшь.

Однажды, проверяя дальний путик, они нашли в петле попавшегося зайца — первая настоящая добыча, к которой Антон приложил руку (он сам ставил эту петлю, под присмотром Прохора). Старик довольно крикнул:

— Ну, Антоха, с почином! Твоя ведь петля-то. Стало быть, можешь уже и сам себя в лесу прокормить. Это, брат, наука важнее всех твоих заморских хитростей. Хитрости твои кончатся, а руки да голова — всегда при тебе.

И Антон, держа в руках добытого зайца, испытал гордость, какой не испытывал ни от одного карьерного успеха в прошлой жизни. Он выживал. Сам. В чужом, суровом веке. И это было настоящим.

В тот вечер они ели похлёбку с заячьим мясом — роскошь по нынешним голодным временам. И Прохор, разомлев от сытости и тепла, рассказывал Антону старые сказки и были — про леших и водяных, про древних богатырей, про старых князей. А Антон слушал и думал, что вот так, у огня, из уст в уста, и жила народная память, и передавалась мудрость, и не давала людям одичать даже в самые тёмные времена.

И ещё он думал о своём. О том, что зима — это время затишья, передышки. Но придёт весна. А с весной — 1611 год. Год Первого ополчения. Год, когда вся разорённая, истерзанная страна начнёт медленно, мучительно подниматься против захватчиков. И год страшных ошибок и предательств, из-за которых это первое восстание захлебнётся в крови и розни.

Он знал об этих ошибках. Знал, что Прокопий Ляпунов, вождь ополчения, погибнет от рук казаков из-за подложной грамоты и взаимного недоверия. Знал, что распри между дворянами и казаками погубят общее дело. Он знал — и не мог пока ничего сделать. Был слишком мал, слишком слаб, слишком чужд.

Но он копил знания. Копил силы. Учился жить в этом мире, говорить на его языке, понимать его людей. Готовился. К чему — он и сам ещё до конца не знал. Но чувствовал: его час придёт. И когда он придёт, он должен быть готов.

А пока — была зима. Снег, тишина, тяжёлый труд и редкие радости. И старик Прохор рядом — единственный друг в этом немыслимом веке. И долгие вечера у лучины, когда два таких разных, заброшенных судьбой человека сидели у огня и говорили о жизни, о Боге, о грядущем и минувшем — два одиноких голоса в огромной, белой, безмолвной зимней ночи.

Глава 12. Долгие ночи

Декабрь сковал землю настоящими морозами. По ночам трещали от стужи деревья — будто кто-то стрелял в лесу из мушкета. Вода в кадке у двери к утру покрывалась коркой льда. Изба, как ни конопать её, выстывала за ночь, и приходилось вставать в потёмках, чтобы подбросить дров и раздуть подёрнувшиеся пеплом угли. Дни стали совсем короткими — солнце, и без того бледное, едва выползло над лесом и тут же клонилось к закату, а ночи тянулись бесконечно, по шестнадцать-семнадцать часов крошечной тьмы.

В эти долгие ночи Антон многое передумал.

Сначала, в первые недели после переноса, его мучила тоска по дому. По привычному миру. Он ловил себя на том, что тянется рукой к несуществующему выключателю, ища свет; что хочет залезть в интернет, посмотреть прогноз погоды, написать кому-нибудь сообщение. Что скучает по горячему душу, по чашке кофе, по простой возможности позвонить и услышать живой голос. По матери — он не звонил ей перед походом, как обычно, а ведь обещал. Что она теперь думает? Ищут ли его? Наверное, ищут. Объявили в розыск пропавшего туриста, прочёсывают тот лес, тот берег... А его там нет. И никогда уже не будет. Он за четыреста лет и непреодолимую пропасть времени от них всех.

Эта мысль — что он никогда, ни-ког-да не увидит никого из прежней жизни, что все они для него уже умерли (или, точнее, ещё не родились), а он для них пропал без вести, — эта мысль порой накатывала такой чёрной тоской, что хотелось быть. В такие ночи Антон тихо доставал из тайника телефон — заряд он берёт, как святыню, включал ненадолго, раз в несколько дней, — и смотрел на фотографии. Вот мать на даче, смеётся. Вот друзья на чьём-то дне рождения. Вот он сам — гладко выбритый, в рубашке-поло, с бокалом, в каком-то ресторане, с дежурной улыбкой. Чужой, незнакомый человек из исчезнувшего мира.

Он смотрел — и плакал, беззвучно, чтобы не разбудить Прохора. А потом выключал телефон, прятал в тайник и заставлял себя успокоиться. Слезами горю не поможешь. Прошлого не вернуть. Есть только здесь и сейчас. Только эта изба, этот старик, этот лес, эта зима. И надо жить. Надо выживать. Надо найти смысл в том новом, что дала ему судьба, — иначе тоска сожрёт его заживо.

И постепенно — день за днём, неделя за неделей — тоска отступала. Не уходила совсем, нет: она затаивалась где-то глубоко и иногда, в особенно тёмные ночи, поднимала голову. Но всё реже. Потому что новая жизнь, как ни странно, затягивала. Захватывала. Она была трудной, опасной, скудной — но настоящей. В ней каждый день был борьбой и победой. В ней был смысл, прямой и ясный: выжить, не замёрзнуть, не оголодать, не пропасть. В ней был рядом человек, который стал ему дорог. И в ней зрела цель — большая, дерзкая, пока неясная, но цель, какой у него никогда не было в сытой и пустой прошлой жизни.

Прохор, чуткий к чужой беде, как все настоящие добрые люди, видел тоску гостя. И в долгие ночи, чтобы отвлечь его, рассказывал. Без конца рассказывал — о былом, о виденном, о слышанном. Старик прожил долгую жизнь и помнил многое. Помнил времена Грозного царя — застал его ребёнком, помнил рассказы отца об опричнине, о казанском взятии, о Ливонской войне. Помнил голодные годы и сытые, моровые поветрия и урожаи. Через его память Антон смотрел в живую, не книжную историю шестнадцатого века — глазами простого человека, для которого цари и войны были далёкой грозой, а главным были урожай, погода, семья, Бог.

А Антон в ответ — осторожно, иносказательно — рассказывал старику об устройстве мира, какой знал. Не выдавая, что это будущее, выдавая за «заморские земли». О том, что земля — шар, и что она вертится вокруг солнца (Прохор крестился и не верил, но слушал заворожённо). О том, что есть на свете иные народы, иные веры, иные обычаи. О том, как лечат болезни, как строят, как считают. Он был осторожен — не хотел напугать или соблазнить ста-

рика «бесовским мудрствованием». Но кое-что рассказывал — и видел, как загораются интересом выпцветшие глаза, как тянется к знанию даже этот тёмный, неграмотный, но умный и любознательный человек.

— Эх, Антоха, — вздыхал порой Прохор. — Кабы мне твою грамоту да твои знания, да помоложе бы лет на сорок... Я бы, может, и сам в дальние края подался, мир поглядел. А то весь век в лесу просидел, кроме своего бора да Лучков ничего и не видывал. Леший да медведь — вот и все мои знакомцы.

— А ты не жалеешь, дедушка, — отвечал Антон. — Ты в своём лесу больше знаешь и умеешь, чем иной учёный муж в своих книгах. Ты живёшь по правде, в ладу с землёй и с Богом. А там, в дальних краях, и учёные, и богатые — а живут криво, в суете и в грехе, и счастья не знают. Я-то навидался. Верь мне.

И старик качал головой, и улыбался в седую бороду, и подбрасывал дров в печь, и за окном трещал мороз, и в долгой зимней ночи теплился огонёк жизни на маленькой лесной заимке, затерянной в бескрайних снегах истерзанной Смутой земли.

Так шла зима. И в этой суровой школе выживания, в этих долгих беседах, в этом труде и одиночестве Антон менялся. Городской человек, мягкий, изнеженный, привыкший к комфорту и беспомощный без него, медленно, но верно превращался в кого-то другого. В человека, способного выжить. В человека, нашедшего цель. В человека, который — он чувствовал это всё яснее — был зачем-то нужен этому веку. И который сам, может быть, впервые в жизни был нужен — по-настоящему, не по работе, а по сердцу — другому человеку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.